Постоянно вспоминаю художника Владислава Рожнева. Талантливейший, незаурядейший человек. А так как мы оба вятские, то, естественно, были друзьями. Искусствоведьмы, как он обзывал критикесс живописи, называли его русским Магритом. И так можно сказать. Но это очень заужено для Владика. Он был истинно русский, которому всё удавалось: пейзаж, портрет, жанр,— он всё делал медленно, годами, но всё запоминалось. Много у него портретов жены Наташи. «Наташа и кони», «Наташа гладит», «Наташа у окна». Любил её очень. Но вот беда — попивал. Всё-таки в рамках терпимости. Изредка срывался, но держался. Много работал. О работе говорил: помашу кистенём. То есть кистью. Бывало, и в переплёты попадал. Отовсюду его вытаскивала Наташа. А когда она ушла в мир иной, он запил уже серьёзно. И мог говорить только о ней. И о работе.

Я очень любил бывать в его мастерской. И дома. У него было множество начатого и неоконченного. Перебирал, что-то доделывал. Показывал с понятной гордостью — хороши были замыслы. Приговаривал: «Все думают, что я умный, а на самом деле (пауза) так оно и есть». Раньше, в былые времена, мы вместе и выпивали. Но когда с ним случилось горе и он мог его залечить только выпивкой, я выпивать с ним наотрез отказался. А он и один пил. И самое страшное, стал за ничто отдавать картины. Чем пользовались. Но не буду об этом.

Раз я был на даче и позвонил ему. И пригласил пожить, продышаться, помахать кистенём. Он приехал с папкой бумаг, с красками, но и с запасом питья. Не вырывать же из рук.

— У тебя тут и ворон каркает: «Стак-кан, ста-ака-ан!»

Ничего он не хотел есть, только пил. Ночи не спал, бродил. Иногда сидя дремал. Убедясь на третий день, что я ему не собутыльник, стал собираться. Сидел, не мог завязать шнурки. Я стал помогать — не даёт:

— Я же не совсем дебиле. Хотя дебилиссимо. Извини, пытаюсь собраться с мыслями и с вещами. То, что мы с тобой придурки, это уже точка отсчёта. Художник или, что то же самое, писатель ненормальны изначально. Ты заметил аллитерацию? Обязан в силу профессии,— завязал шнурки на одном ботинке, разогнулся.— Итак, о чём я?

— Ты собирался с мыслями. Надеюсь, со своими.

— Пособирался. И с прискорбием, от имени группы товарищей, сидящих во мне, констатуирую этот факт.

Я опять попытался помочь завязать оставшийся шнурок.

— Нельзя, не приучай к барству.

— Завязать же надо шнурок.

— Да, с вами не просто, а просто тяжело. Шнурки, шнурок — это кликуха тинэйджера. А завязать — это завязать. Это этапное событие. Мне дано связывать и развязывать.

Обулся, передохнул, взялся за свою папку. Перебирает листы:

— Эта — средней паршивости. А эта — на полтона выше. А об этой я не готов вынести суждение. Хотя могу сказать всё. Нет, всё сказать никто не может.

Ещё смотрит. Иногда одобрительно взмахивает рукой, иногда крякает с досадой. Наконец завязал шнурки уже у папки, встал. Отказался от еды, от чая, отхлебнул для поднятия сил из горла, и мы пошли к станции. Медленно шли. Когда он кренился вперёд, почти падая, мы шли быстрее. Он всё время останавливался, глядел вокруг:

— Готовая картина. Гляди: опилены сучки у ясеня. Кто-то защищал от него липу. За что? Она же ему рога наставила, торчат. Такой ясень уже в Сикиликофосовского. Понял иносказательность? Наташа там меня навещала, когда меня в очередной раз убивали.

Еле ползём.

— Стой, буланчик, распрыгался.

Стоит у дерева, держится за ствол. Потом оседает, сидит на траве.

— Как ты себя чувствуешь?

— Ты очень правильно спросил: себя. Не самочувствие, а себячувствие.

Проходят две девушки. Владик, а у него прекрасный голос, поёт:

— «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость, на тебя». Не Паваротти, но держу уровень.

Девушки ускоряют шаг.

— Правильно, не надо стоять, не надо раздеваться, наглядеся я на вас, неглиженки, натурщицы. Для меня в вас секретов нет. Ах, дымом от печей пахнуло, хорошо! Любил печку топить?

— Ещё бы!

Владик поворачивается:

— О! Это же скульптура! Дорога, собака, пень! Ты видишь это совершенство форм? Ушла. Скотина какая, не дала ленточки разрезать. Ты понял, что мы были на открытии выставки «Совершенство форм природы и безформенный художник»? Собака при дороге. По латыни «при дороге» — «ин тривис», отсюда тривиальность. Но мы тоже при дороге. «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги...» Помнишь тарелку чёрную военную, послевоенную? Слушал все передачи, и все — как истина в последней инстанции. Я был счастлив. Сейчас я тоже счастлив.

— Может, пойдём потихоньку?

Спускаемся к источнику. У него женщина, ещё не старая, но уже в седине.

— Погружаться пришли?

— Резонно, но не сезон,— отвечает Владик.

— У Господа всегда сезон. Погрузитесь и утопите в источнике свой грех. Какой? Видно же, какой. Просите Господа, чтоб не пить.

— Просил.

— Значит, плохо просил. Проси, чтоб мог просить.

— Мне бы такую спутницу жизни, как вы.

— Это исключено. У вас она была, и у меня он был. Их нет, и хватит.

— А как вы поняли?

— Как? Видно, что вы очень несчастны. Теперь нам только у Бога просить дожить до смерти.

Побрели дальше. Остановились на выгнутом мосту через Сетунь. Владик перегнулся через перила:

— Кипит вода. Эх, пороги, брызги в туман. Надо выпить.

— Но ты окрепнешь от этого или ослабнешь?

— Нет, токмо пользы для. Лекарство для и вот именно, и далее по тексту. А женщина хорошая. В неё бы Серов, нет, даже Боровиковский вцепился.

— Да и Тропинин.

— Понимаешь, хвалю. Страдание скрыто, красота явная, уходящая, но за неё не держится. Редкость.

— Владик,— говорю я,— это же отчаяние — быть художником. Вот вода сверкает, вот солнце заходит — как поймать? Каждую же минуту всё меняется. Такую яркость разве запомнить? Мне-то легче. «Заходило солнце, река темнела, свежело. Художник печалился, что не взял мольберта или хотя бы блокнота». И далее, как ты говоришь, по тексту.

— Шумит, гудит Гвадалквивир,— Владик всё не может насмотреться на воду.— Ночной зефир или эфир чего-то там струит, да-а. Свет, товарищ, свет он струит. «Реве та стогне».

Пробегает спортсмен. Сильно топает.

— Плохое воспитание. Он мог бы притормозить в силу того, что тут два седых бородатых человека. Это ему хотелось показать, что он прыгунчик-кенгурчик, везунчик.

Тоже гляжу на воду

— А у кого есть такая вода? Вот и водоросли подсвечивают.

— Есть. У Моне.

— У Клода?

— У Эдуарда. И у Клода есть. Эти людики нормальные очень.

Проходят две женщины. Смотрит:

— Мой комментарий: всё при них. Но, дуры, зачем они в штанах? А этот кенгурчик зачем без штанов? Люди задыхаются в самомнении, в пошлости, в похотливости и жеребячьем ржании. А эти проходящие во мрак, простые бабёшечки, это вам не Жоржетта, не Жозефина, не Форнарина, не освещённая солнцем девочка, они бы ничего во мне не поняли. Вернёмся к воде. Да, Мане, Моне. Они в моём иконостасе.

— В иконостасе иконы!

— Ну, это иносказательно. После них французы сдохли.

Добираемся еле-еле до станции. Ещё один раз он останавливается, но не садится: не встать потом.

— Видел у меня завалы картин в мастерской?

— Ну.

— Очень у нас вятское это «ну». Картины все давние. На выставке подходят дамы, краснеют, бормочут комплименты. Но я же это тридцать лет назад писал.

— И что? Значит, живы и ещё сто лет проживут.

— Скажи,— Владик сжимает мой локоть,— скажи, зачем я делал копии с себя?

— Деньги были нужны.

— То есть поголодать не мог? А заказы пошли. От ресторанов, от посольств. Именно просили точно такую. То есть я же повторялся! Сам себя повторял — это что? Возьми свой старый рассказ да перепиши от руки. Ничего не меняя, перепиши. И ещё перепиши. Ничего не меняя. Поглупеешь или запьёшь. Или и то, и другое.

Он немного отпивает. Встряхивается. У станции берём машину и долго-долго в ней тащимся. Жара. Владик то дремлет, то смотрит по сторонам. Мысли в нём бродят неустанно:

— Мы — одно поколение, мы — земляные черви вятские, нас склёвывали, а мы-то не черви — гусеницы. Хотят склевать, а мы уже бабочки. Да, подумай, хорошо ли гвоздю, когда его забивают? Или мы ушли в землю, а? Готовить всходы?

Приехали к нему домой. От чая Владик отказывается. Ложится на диван.

— Мне мать говорила, когда я после седьмого класса поехал в Кострому в училище: «Ты в городе голову можешь потерять». Я и потерял. Видишь автопортрет: я стою и голову свою держу под мышкой? А второй автопортрет? Заметил: шляпа, как крыша над головой, наискосок? Читаешь мысль? Крыша поехала. Но это уже после Костромы, в Москве.

Всё-таки я ставлю чайник, завариваю чай прямо в кружке, приношу.

— Надо, Владик, надо всплывать. Чай поможет.

Владик пытается поднять кружку, но неловко, опрокидывает её. Я собираюсь пойти за тряпкой.

— Подожди,— Владик поворачивается и восхищённо замечает: — О, не зря я, не зря я свершил опрокидонт. Хорошо, что ты не успел сходить за тряпкой. И хорошо, что чай жидок, как вода. Хозяин русский, чай жидóк. Смотри, со стола налилось на пол, образовалась лужица. И она, веду репортаж, всё больше и больше. Океанский прилив. Был на океане? Я на Тихом был. Во Владике. А ты знал, что Владивосток называют Владиком?

— В честь тебя?

— Можно допустить. Смотри, в луже отражается небо за окном. А меня ещё спрашивают: где беру сюжеты? Не знаю где, говорю, но знаю, где взять. Смотри, неба в луже всё больше, оно в лужу стекает, и может статься, что к вечеру останемся без неба. Если бы чай был крепко заварен, небо было б среднеазиатским, а так русское предтундрие,— Владик переворачивается обратно, тянется уже не за кружкой, за стаканом.— «Эх, мой милёнок — живописец, мастер кисти и пера. На галошах мелом пишет в Третьяковке номера». Ты застал это время, когда в галошах приходили в театр?

— Конечно. Но при мне и перестали. Асфальт устранил их.

— Асфальт и Россию устранил. В русской литературе колёса экипажей, и тарантасов, и телег стучат по мостовой? По мостовой! Слово-то какое прочное — «мостовая». Не асфальт. Проверь и убедись: его происхождение — из Мёртвого моря. Мёртвое море — Асфальтовое. Асфальтом покойников заливали для сохранности. У Даля объяснение: асфальт — жидовская мостовая. Народное название. Да плюс ещё от асфальта канцерогенность, раковые болезни. Асфальт не мостовая, по асфальту катятся. И мозгам что? Отдыхают. А на мостовой трясёт. И чего-нибудь всегда вытрясет. Вспомни у Розанова, как при езде на бричке, в карете ли появлялись его «Опавшие листья». Он говорил, что мысли из него вытряхивает. Не самые, кстати, могу сообщить, глупые.

— Пойду тряпку принесу.

— Не надо! Само высохнет. Представляешь: небо высохнет.

— У меня в мальчишках стихи были: «Солнце в луже светит ярче, потому что лужа ближе». И ещё про лужу: «По лужам прямо! А вдруг под лужей таится яма колодца

глубже? Но промедленье — убийство риска: сильней паденье — выше брызги». Как?

Владик хмыкает:

— На троечку, конечно. Но, учитывая вятскую молодость и оторванность от центров образования, накинем два балла за подход и отход.

Со стола перестаёт капать.

Владик спускает ноги на пол, долго думает.

— А вспомни, каким нас юмором кормили. Каким? Эстрадники нас считали за быдло. Да так и всегда с нами. И правильно, ржать от их шуток не надо. «Растворимый кофе поступил на базу. Поступил на базу — растворился сразу». Это, надо понимать, критика.

— Память была молодая,— поддерживаю я.— Вот тоже такое, помнишь? «Раз я в парикмахерску зашёл побриться, там меня царапала долго ученица. Я сижу и плачу, кровь с меня (с меня, Владик, слышь, это ж бабелизм) течёт. А она мне: тише, я сдаю зачёт».

— И как же мы выжили? — спрашивает Владик.— Как? Отвечаю: спасала классика! Классики с большой буквы. Иллюстрации классики в журнале «Огонёк» вешали на стену. «Алёнушка», «Три богатыря», «Меншиков в Берёзове», «Над вечным покоем вечерний звон». Так называю.

— «Троица»! А в литературе! Пушкин, Тютчев, Гончаров! Вот от этого классику сейчас и убивают. Загоняют в чёрную клетку квадратную. При Советах не сообразили убить, сейчас догоняют.

Владик снова перебирает листы с рисунками.

— Не знаю, чего совершу я, но небесный замысел есть. Один. Портрет.

— Конечно, Наташа?

— Да. У окна. Смотрит не сюда вот,— показывает на своё лицо,— а уже в другое пространство. В какое мне не дано. Поэтому, конечно, страшусь.

— Пить будешь — так, конечно, страшно. Извини, конечно.

— Чего извинять, всё правильно.

Владик наступает в лужицу и уходит из комнаты, оставляя на полу следы босых ног.